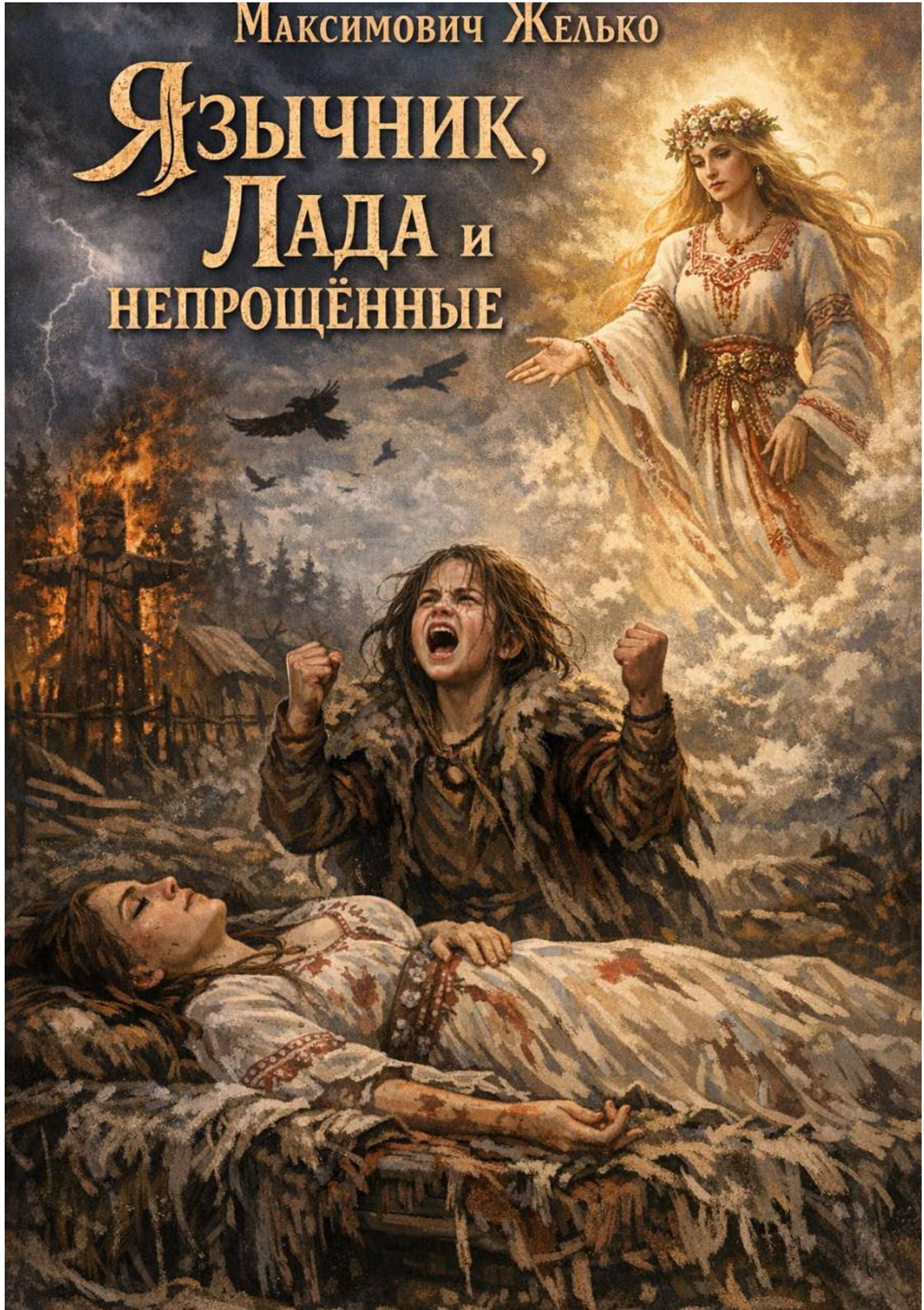


Максимович Желько

Язычник, Лада и непрощённые



Желько Максимович

Язычник, Лада и непрощенные

«Автор»

2026

Максимович Ж.

Язычник, Лада и непрощенные / Ж. Максимович — «Автор», 2026

Глубокое психологическое произведение о пути юной Радмилы к прощению и принятию себя в мире, где языческие традиции постепенно угасают. В центре повествования — история девочки, которая после трагической смерти матери в родах проклинает богиню Ладу, не в силах принять случившееся. Действие разворачивается в селении Будишине, расположенном среди загадочных озёр, хранящих память о прошлом. Через призму восприятия главной героини автор раскрывает сложные отношения между человеком и божественным, исследует темы вины, прощения и истинной любви. Особое внимание уделяется описанию языческих обрядов, верований и мистических явлений, происходящих в мире, где грань между реальностью и волшебством едва различима. В романе переплетаются несколько сюжетных линий: личная история Радмилы, её отношения с отцом и окружающими, а также мистические события, связанные с озером и явлением богини Лады.

© Максимович Ж., 2026

© Автор, 2026

Желько Максимович

Язычник, Лада и непрощенные

Глава 1. Луга бесплодных камней

Земля Лужицкая дышала мокротой. Не свежей росой весенних трав и не щедрым летним испарением — а именно той мокротой, что остаётся, когда вода долгие недели не находит пути к солнцу, когда озёра становятся не отражением неба, а его противоречием. В этот год, в сентябре, когда луна была в доме Велеса, мокрота вообще не уходила с земли. Она проникала в дерево, в ткань, в кость, в самую суть дыхания. Люди просыпались с ощущением, что спали не в домах, а в расселинах больших чёрных озёр.

Озёра Лужицы не были обычной водой. Это была память, облитая жидкостью. Четырнадцать великих озёр лежали между холмами, как чёрные глаза огромного спящего существа, и каждое хранило в себе отражения, которые никогда не совпадали с реальностью. Люди говорили, что, если долго смотреть на озеро при луне, можно увидеть не своё лицо, а лицо того, кем ты был раньше — в прошлой жизни, в прошлом роде, в прошлой воле Рода.

В селении Будишине, что стояло на правом берегу реки Спреи, в месте, где течение замедлялось и образовывало небольшой разлив, жила семья ремесленников Коловратов. Дом их был крепким, построенным из дуба, что рос в священной роще в полверсты от жилья. Строили его ещё отец отца Милана, и в каждый брус была вложена молитва, и каждый угол был обращён к стороне света, откуда приходила воля Рода.

Отец, Милан, был мастером резьбы. Его руки, натруженные и покрытые мелкими шрамами, работали только с дубом и берёзой — это были деревья, допущенные к священным предметам. Идолы, которые он вырезал, не были произведениями искусства в нынешнем понимании. Это были порталы, вместилища. Каждая щель, каждая впадина, каждый поворот дерева под ножом — всё имело смысл. Люди приходили к Милану за идолами для семьи, для поля, для роженицы, и он знал, какого бога вырезать, в какую луну, каким способом. Его работа была молитвой, и молитва была трудом.

Мать, Звенислава, ткала. Её ткацкий станок стоял в северной комнате дома, там, где свет был самым холодным и самым истинным. Она ткала рубахи для богов — белый лён для Лады, красный для Перуна, чёрный для Велеса. Эти рубахи шили жрецы и волхвы во время обрядов, и каждая нить Звенисловы была вплетена с молитвой о благополучии рода, о плодородии земли, о защите от болезней. Её пальцы были сильны и терпеливы. Её спина всегда прямая, как сама основа жизни. Люди говорили, что ткачество Звенисловы можно отличить по особому звуку челнока — он звенел, как имя самой ткачихи.

И была у них дочь, Радмила.

Ей было шесть зим и два месяца в то утро, когда всё переломилось. Её косы были чёрные, как ночная вода, и такие длинные, что она могла сидеть на них, если скручивала их кольцом под собой. Её глаза были серые, как озёра Лужицы в облачный день. Она была задумчивым ребёнком, тем, что предпочитает молчание болтовне, наблюдение — игре. Соседские дети

звали её в хороводы на святках Лады, но Радмила часто уходила, чтобы сидеть у берега реки и смотреть, как вода уносит листья.

Её отец говорил: Дочка думает о том, что не должна думать маленькая девочка. Но говорил это с нежностью. Её мать улыбалась и больше ничего не прибавляла — она знала, что некоторые люди рождаются уже готовыми слушать богов.

Но в сентябре, в год урожайный, когда поля отдали честь Перуну грозами и молниями, жизнь семьи Коловратов пошла вразрез с волей Рода.

Звенислава понесла второе дитя.

Беременность пришла неожиданно — Звенислава была уже в том возрасте, когда рождение становится опасным. Ей было сорок два зимы. Волхв Яромир, когда слышал об этом, приходил в дом и долго смотрел на живот женщины, положив руку прямо на ткань льняной рубахи. Его лицо было задумчиво, и в его глазах, чёрных как озёра, виднелось что-то вроде предчувствия.

Дитя хочет прийти, — сказал он Милану, когда вышли из дома. — Но воля его противится воле Рода. Я вижу две смерти в одной беременности. Молись богам, мастер. Молись день и ночь.

Милан побледнел. Его руки, привыкшие работать, остановились. Он прошёл в святилище — небольшое помещение за домом, где хранились идола семьи и алтарь Лады. Там он упал на колени и молился, приговаривая имена богини так, как молятся только в смертельной опасности.

Радмила слышала его молитвы сквозь деревянные стены дома. Она не понимала слов полностью, но понимала их звучание. Это было звучание страха.

На протяжении двух луны перед родами Звенислава работала меньше. Её станок молчал. Это был странный звук — молчание в доме, где всегда звенел челнок. Она сидела в комнате, близко к окну, и смотрела на реку. Её живот округлился, стал огромным, натянутым, как барабан, готовый издать звук. Иногда Радмила видела, как живот матери движется — там, внутри, что-то шевелилось, что-то боролось, что-то тосковало по свету.

Звенислава ласкала волосы дочери, когда та сидела рядом.

Когда ты рождалась, — сказала она Радмиле, — солнце встало ровно в полночь. Это был знак Лады, что ты особенная. Лада сама присутствовала при твоём рождении, и её улыбка была в первом крике, который ты издала.

Радмила не ответила. Она только слушала голос матери, этот тёплый, как натопленная печь, голос, в котором жила вся история их рода, вся мудрость предков.

Это дитя, что сейчас внутри, — продолжала Звенислава, медленно проводя пальцем по косе дочери, — оно другое. Я это чувствую. Его вообще может не быть. Боги не всегда хотят, чтобы жизнь продолжалась. Иногда они хотят, чтобы мы понимали, что они выбирают для нас. И если они выбирают смерть, то это выбор любви, не наказания.

Эти слова, произнесённые спокойно, с такой ясностью, стали для маленькой Радмилы первым уроком принятия смерти как части жизни. Но также это были первые семена сомнения. Если боги выбирают смерть из любви, то что это за любовь? Какая мать может любить, если она отнимает?

Роды начались в ночь на первый день серпня, когда луна была в доме Велеса, а звёзды очень близко подошли к земле. Может быть, они и предвещали беду. Волхв Яромир пришёл с первым предчувствием боли в доме. Он был очень старый, старше самого дуба, что рос в священной роще. Его лицо было покрыто морщинами, как изъеденное дерево, и у него не было зубов, и он говорил так, словно каждое слово давалось ему ценой гигантского усилия. Но его глаза были молоды — тёмные, чёрные, живые, как у человека, что только что рождён.

Радмила была выведена из комнаты и помещена в дальний угол дома, за тяжёлый занавес из толстой шерсти. Ей сказали сидеть там и не выходить, что бы ни случилось. Но занавес был не плотный, и сквозь щели Радмила видела свет, видела движение теней, видела, как Яромир зажигает свечи, расставляя их в определённом порядке.

И она слышала.

Голоса матери пришли не сразу. Сначала был час молчания. Часы, кажется, два. Радмила считала, кажется, удары своего сердца, и с каждым ударом становилось холоднее. Потом крик. Первый крик — это был не крик боли даже, это был крик удивления, словно тело матери открыло для себя существование боли в первый раз в жизни. И потом — крики продолжались.

Они не походили на что-то человеческое. Они казались криками зверя в ловушке, криками, что рождаются из самых глубин существования, из того места, где боль и жизнь неразличимы. Радмила закрыла уши руками, но звук проходил сквозь кожу, сквозь кости, прямо в сердце.

Волхв Яромир говорил что-то — молитвы, заклинания, имена богов. Его голос был спокоен и твёрд, как голос, что говорит с самой смертью и не боится её.

Лада, мать Богов, — слышала Радмила его слова, — приди, помоги. Твоя дочь Звенислава просит помощи. Помоги ей пересечь границу между миром живых и миром духов. Если воля твоя — чтобы она вернулась, верни её. Если воля твоя — чтобы она ушла, даруй ей лёгкий переход.

Крики матери становились слабее. Это было ещё хуже, чем когда она кричала с полной силой. Слабые крики — это крики того, кто теряет надежду, кто понимает, что тело больше не слушается, что воля уходит, что жизнь утекает, как вода сквозь пальцы.

И потом — тишина.

Полная, абсолютная тишина, какой Радмила никогда не слышала раньше. Даже ночью, даже в глубоком сне, всегда есть какой-то звук — дыхание, биение сердца, скрип дерева дома, шум ветра за окном. Но тогда была тишина абсолютная, как будто мир остановился, как будто время само по себе умерло.

Потом — детский плач. Очень слабый, очень жалкий, звук, который, кажется, не должен был прийти из горла новорождённого, но пришёл. Младенец кричал, словно не хотел этот мир, словно знал о смерти, что уже ждёт его на пороге.

Радмила, маленькая Радмила, в темноте за занавесом, поняла без слов: мамы больше нет. Она знала это не разумом — разум в шесть лет только учится понимать смерть. Она знала это телом. Её живот сжался в кулак. Её сердце перестало биться ровно. Её кровь, которая была теплой, внезапно похолодела, как если бы в теле её, вместо огня жизни, разжигался лёд.

Занавес раздвинулся. Волхв Яромир стоял перед ней. На его руках была кровь. На его лице была кровь. В его глазах была вся боль мира.

Позови отца, — сказал он тихо.

Радмила не двигалась. Она только смотрела на кровь.

Позови отца, дитя.

И она позвала. Её голос был тонким, как нить.

Милан вошёл из комнаты, где он молился. Его лицо было мокро от слёз. Он уже знал. Он уже понимал. Но когда Яромир провёл его в комнату, где лежала Звенислава, мастер издал звук, который не совсем был звуком. Это было что-то вроде того, как издаёт звук дерево, когда его разламывают пополам.

Радмила слышала этот звук даже после того, как двери затворились.

Волхв Яромир вернулся с младенцем.

Это был мальчик. Очень маленький, очень слабый. Его кожа была синей, как синева озёр Лужицы. Его рот открывался и закрывался, словно рыба, выброшенная на берег и пытающаяся вернуться в воду. Волхв положил его в люльку, которая стояла у печи, и начал готовить настой из трав — трав жизни, как их называли, трав, что помогали младенцам приниматься к груди матери.

Но груди не было. И не будет.

Волхв Яромир отдал младенца кормилице — Евфимье, жене кузнеца, что недавно родила сына и имела много молока. Евфимья пришла в дом Коловратов со своим ребёнком, обёрнутым в лоскуты ткани, и без слов взяла чужого младенца себе на руки.

А дом опустел. Или, скорее, заполнился присутствием отсутствия.

Звенислава была обмыта, переодета в белую рубаху — ту, что она сама ткала для жрецов, когда готовилась к смерти людей, о которых думала, что они будут жить после неё. Её чёрные волосы, такие же, как у дочери, были расчёсаны и заплетены. Её руки были сложены на груди. В одну руку положили красный лён, в другую — белый. Красное — для её мужчины Милана, в память о любви. Белое — для Лады, в молитве о прощении.

Радмила вошла в комнату, где лежала мать. Её не гнали, но и не приглашали. Она просто пришла, тихо, и села на пол рядом с тем местом, где лежало тело.

Звенислава была холодной. Радмила коснулась её руки — холодной, как озёрная вода. Но лицо её было спокойным. В смерти Звенислава нашла то спокойствие, которого не было в жизни. Её лицо было лицом человека, что, наконец, положил бремя, которое таскал слишком долго.

Мама, — шептала Радмила. — Мама, не уходи. Не уходи в темноту. Останься со мной. Если ты уходишь, я не буду знать, как жить.

Но мама не услышала. Или услышала, но не могла ответить. Граница между миром живых и миром мёртвых уже была пересечена, и звуки живых не доходили туда.

Рассвет пришёл медленно. Это был не обычный рассвет — это был рассвет, покрытый серостью горя. Первые лучи солнца, когда они коснулись крыши дома, не принесли обычного чувства обновления. Они только осветили то, что осталось: мёртвое тело матери, мёртвую надежду семьи, мёртвую веру в справедливость богов.

В это утро, когда свет был ещё слабый, Милан вышел из комнаты, где молился ночь напролёт. Его лицо было выщербленное, исцарапанное ногтями собственной боли. Его руки были в крови — он сжимал что-то так сильно, что ногти вошли в ладони.

Он пошёл к святилищу, к тому месту, где хранились идола.

И там он сделал то, что не должен был делать никогда.

Он взял деревянного идола Лады — того, что он сам вырезал много лет назад, когда только учился ремеслу, когда его руки были молоды и его сердце было полно веры. Идол был красивый, с мягким лицом богини, с руками, раскрытыми в благословении. Он был пропитан молитвами сотен людей, что просили Ладу о помощи в рождении, в защите детей, в сохранении жизни.

И Милан выронил его.

Просто выронил, как выронил бы человек, чьи руки потеряли чувствительность, чьи мышцы отказались работать. Идол упал на траву перед святилищем, лицом вверх, и раскололся — не пополам, но трещины пошли по всему телу, как если бы дерево попыталось расслоиться на части, чтобы разделить боль на куски поменьше.

Милан упал рядом с расколотым идиолом и рыдал.

Он рыдал телом. Это не были слёзы, текущие по щекам — это было то, когда вся плоть, все кости, все внутренние органы участвуют в рыдании, когда человек уже не может отличить, где кончается его тело и начинается его боль. Его спина дёргалась. Его горло издавало звуки, которые не совсем были звуками — они были скорее звучанием самого отчаяния, взявшим человеческую форму и использовавшим его голос как музыкальный инструмент.

Лада! — кричал он. — Жестокая! Почему? Почему? Зачем она? Зачем ребёнок, если забираешь мать?

И ещё:

Не женщина, не мать, не мастер — ничего. Не остаётся ничего. Только боль. Только пустота. Только...

Слова кончились. Остался только голос, становившийся всё слабее, как голос животного, что умирает в ловушке.

Радмила вышла из дома.

Она не помнила, как вышла. Она помнила только, что слышала крики отца, и её ноги сами её вынесли из дома, сами отнесли её к святилищу. Может быть, её ноги знали, что она должна увидеть это. Может быть, какая-то часть её семилетнего сознания поняла, что это переломный миг, что после этого момента жизнь никогда не будет прежней.

Она встала рядом с отцом.

Он был так поглощён своей болью, что не заметил дочери. Его взгляд был устремлён вниз, на трещины в расколотом идоле, как будто в этих трещинах он мог прочесть ответ на вопрос, который ему задавали боги, и он не мог понять.

Радмила посмотрела на расколосся идол. Посмотрела на своего отца, расколосся от боли. Посмотрела на дом позади, где её мать лежит в погребальной белизне. Посмотрела на небо, где солнце только что коснулось горизонта, начиная новый день — новый день без матери, без смысла, без справедливости.

И в её шестилетнем теле, в её шестилетнем сердце, в той части её существа, которая только что потеряла всё, что было дорого, зародилось нечто тёмное. Нечто, что немедленно потребовало выхода.

Её голос был тонким, но резким, как лезвие:

Лада жестокая! Забрала мою маму! Ненавижу её! Ненавижу!

Слова прозвучали в тишине утра, в тот момент, когда солнце только-только освещало крышу дома. Они прошли сквозь воздух, как стрелы, как проклятия, и повисли над землёй Лужицей, как облака, которые никогда не рассеются.

Милан не поднял на дочь взгляда. Может быть, он даже не услышал. Может быть, его боль была слишком велика, чтобы вместить что-либо ещё.

Но Волхв Яромир услышал.

Он стоял в тени входа в святилище, и его чёрные глаза медленно переместились с идола на Радмилу. В его взгляде было что-то, что ребёнок не смог бы расшифровать в этот момент — что-то вроде признания, что-то вроде печали, что-то вроде сожаления.

Волхв не сказал ничего. Он только смотрел на девочку взглядом, полным странной печали — словно знал будущее, которое ещё не родилось, словно видел, как это проклятие вырастет в её сердце, как оно пустит корни в её костях, как оно будет жить в ней долгие годы, пока не превратится в нечто совсем другое.

Потом он повернулся и вошёл в святилище, и дверь затворилась.

Радмила осталась стоять в свете восходящего солнца, рядом с отцом, который рыдал, рядом с расколотым идолом, рядом с домом, в котором больше ничего не будет, как было раньше.

И в озёрах Лужицы, если бы кто-то смотрел туда в этот момент, он увидел бы, как зеркальная поверхность воды едва заметно вздрогнула, как будто отразила не только свет восходящего солнца, но и что-то более тёмное — тень проклятия, упавшего в её воды, тень, которая будет оставаться там, в глубине, долгие годы, пока не превратится в нечто совсем иное — в дорогу, в мост, в спасение.

Но это будет потом. Много позже. Сейчас было только утро, холодное, мокрое от росы и слёз, утро, в которое мир разломился пополам, и никакие молитвы, никакие слова не смогли бы его снова собрать.

2. Проклятие тишины

Годы текли, как лужицкая мутная вода, медленно, с постоянным шорохом камыша, с тяжёлым дыханием болот. Радмила выросла в этой текучести, и с каждым летом, с каждым поворотом луны, сумрак в её сердце углублялся — словно озеро, которое год за годом становилось всё чернее, всё холоднее. Её отец Милан редко смотрел ей в лицо. Когда он это делал, в его глазах вспыхивало что-то острое, быстро скрываемое — не гнев, нет, но боль, которую он не мог ни назвать, ни облегчить.

В селении Будищине о Радмиле говорили шёпотом. Не громко, не при ней — они знали, что хоть она и избегала людей, её слух был острый, как слух раненого животного, готового всегда к удару. Но шёпот имеет свойство достигать тех, кого касается. Он проникает в стены дома, в щели дверей, в ткань платья, в само сердце.

Проклята Матерью Богов, — говорили женщины в бане, в горячем дыму, когда пар делал видимым всё невидимое. Именно там, в щёлочистом тепле, язык становился свободнее, слова теряли вес собственной ответственности. Они парились на верхних полках, пока Радмила, худая и немного согбенная, даже в её возрасте, приносила и переносила вёдра горячей воды. Её тонкие руки едва справлялись с весом.

Видела бы ты её глаза, когда молимся Ладе на празднике, — продолжала одна из них, Мирова, жена кузнеца. — Не молятся, а смотрят, как на врага. Как будто собираются плюнуть на священный огонь.

Мать её умерла при родах второго, — напоминала другая, старая Добра, что была повивальной бабкой для всего селения и знала секреты каждого рождения и смерти. — Видела я,

как малышка вышла из-за занавески. Отец уронил идола. Девочка сказала... боги мне помилуй... сказала, что ненавидит Ладу.

Молчание. Горячий пар поднимался в потолок, как молитва, которая не будет услышана.

Ненавидит она, — вздохнула ещё одна голос. — Вот и вся беда. Ненависть прилипает к человеку, как грязь. И смыть её не может даже святая вода из источника.

Радмила слышала всё это, пока переносила вёдра, и каждое слово падало в её груди, как камень в озеро, создавая круги, которые не исчезали. Она научилась ходить тишком, так, чтобы никто не слышал её шагов. Научилась дышать неслышно. Научилась быть в комнате и при этом быть невидимой.

Но её видел её отец.

Милан Коловратов, мастер резьбы по дереву, был человеком молчаливым от природы. Его язык был явно короче, чем его руки. Руки говорили вместо него — резали, вырезали, высекали из дерева образы богов, которые потом стояли в домах, в святилищах, на берегах озёр. Когда-то, когда жила его жена Звенислава, эти руки создавали светлые фигурки — веселых русалок, щедрых берегинь, благожелательных домовых. Деревянные боги Милана светились мудростью и добротой. Люди платили ему хорошие деньги, ведь каждый хотел иметь в доме идола, вырезанного руками мастера, который знал, как расслышать голос дерева.

Но Звенислава умерла, и руки Милана переменились.

Сейчас, когда Радмила смотрела на работы своего отца, её леденило. Идолы Лады, которые он создавал, вырастали со скорбным выражением лица, словно сама Богиня Матери страдала от прикосновения его резца. Её зубы были сжаты так сильно, что казались острыми. Глаза смотрели куда-то далеко, в боль, которую никакая молитва не исцелит. Даже волосы её деревянные развевались не от ветра, а от некоего внутреннего крика.

Зачем такую делаешь? — спросил как-то Волхв Яромир, придя к Милану домой. Он смотрел на почти готовый идол, что стоял в углу мастерской, обложенный стружками и опилками.

Милан не ответил сразу. Он продолжал резать, его нож вгрызался в дерево с медленной, методичной жестокостью.

Хозяин заказал, — сказал он наконец.

Никакой хозяин не заказывал такую скорбь, — возразил Яромир. — Я знаю каждого в селении. Никто не хочет сидеть перед богиней, которая плачет.

Милан остановился. Его рука вернулась в душу работу. Радмила, что сидела в углу, прядя лён, старалась быть ещё более невидимой. Она видела, как отец побледнел, как его челюсть дрогнула.

Может быть, такую и надо, — услышала она его голос, тихий, как шелест камыша. — Может быть, Лада должна знать, что она одним своим желанием убивает людей. Что её любовь

стоит жизни матери. Её забота — детского плача на ночь, когда никто не может убаюкать ребёнка, потому что его мать уже холодная в земле. Может быть, она должна видеть, что значит быть матерью, когда матери нет.

Волхв Яромир молча повернулся и вышел из дома.

После его ухода Милан сел у огня и поднял голову к потолку, словно хотел что-то там найти, но находил только дыр и копать.

Радмила подошла к отцу молча и положила ему руку на плечо. Это был её первый осознанный жест милосердия к нему, и её рука дрожала, потому что она боялась его боли больше, чем своей.

Отец не отшатнулся. Он просто сидел, неподвижный, как вырезанное из дерева изображение горя.

С тех пор в селении перестали покупать идолов Лады у Милана. Его работы обходили стороной, хотя все знали, что резьба его становилась всё совершеннее, детальнее, более человеческой в своём страдании. Некоторые говорили, что смотреть на них нехорошо, что они вносят в дом болезнь. Другие, более суеверные, считали, что Лада сама проклинает мастера через его дочь.

Волхв Яромир приходил в дом Коловратов нечасто — но, когда приходил, он приходил ради Радмилы.

Ей было двенадцать зим, когда он пришёл однажды в сумерках, когда свет в избе был жёлтым, густым, как мёд. Милан был на работе у соседа, чинил раму амбара. Радмила сидела у огня, расчёсывая свои чёрные волосы, которые никогда не вились красиво, как у других девочек, а падали прямо и жёстко, как конопля, необработанная и сырая.

Яромир был очень старый. Его лицо было покрыто морщинами, как кора дерева, что стоит в лесу сотни лет. Но глаза его были молодые, внимательные, как глаза птицы, что смотрит издали и видит всё.

Он сел рядом с ней, не говоря ничего. Они просидели так, помолчав, довольно долго. Радмила чувствовала себя странно в его присутствии — не пугливо, как рядом с другими взрослыми, не враждебно, как рядом с детьми в селении, но как-то... узнанной. Словно он видел то, что она скрывала.

Дитя, — сказал он наконец, и его голос был тихим, как голос, что кто-то поёт себе под нос, когда один. — Ты знаешь, что такое семена?

Радмила кивнула. Все в селении знали, что такое семена. Её мать, покойная Звенислава, учила её в детстве узнавать растения, знать, какие семена съедобны, какие целебны, какие ядовиты.

Слова, произнесённые в горе, — они как семена, — продолжил Яромир. — Они падают в землю, в сердце человека, в плоть мира. Они ждут. Но слушай же: семя не может вырасти, если земля не пожелает его принять. Если земля заморожена, если она каменистая, если она мёртвая

— семя просто лежит там, ничего не рождая. Ты произнесла свои слова в горе, в момент, когда тебе было шесть зим, когда ты видела смерть матери, когда твоё сердце разбилось, как глиняный кувшин. Но земля твоя — твоё сердце — пока ещё может выбрать, будут ли эти семена возвращаться или нет.

Радмила посмотрела на его лицо. Она не совсем понимала, что он говорит. Но его голос был добр, и в нём не было той холодности, которая в голосах других.

Я ненавижу её, — сказала Радмила. Впервые за долгие годы она произнесла это не в тайне, не в сердце, а вслух, перед человеком. Её голос дрожал. — Я ненавижу Ладу. Она забрала мою маму. Почему она позволила ей умереть? Почему она такая жестокая?

Яромир не испугался, не отшатнулся, не начал её урезонивать. Он просто слушал.

Может быть, потому, — сказал он, — что боль и смерть — это часть жизни, и даже Богиня-Мать не может её избежать. Может быть, потому что Лада тоже страдает каждый раз, когда страдает её дитя. Может быть, потому что иногда правильного ответа вообще нет, и мы все живём в мире, где несправедливость и боль просто есть, как есть камни на земле, которые мы не можем убрать, только научиться по ним ходить.

Радмила заплакала тогда, первый раз при ком-то, кроме отца. Яромир дал ей воду из деревянного ковша, дождался, пока она успокоится, а потом встал и вышел, не говоря больше ничего. Но его присутствие оставило в доме след, как оставляет след благовоние в комнате, где его уже давно зажгли.

На празднике Ярилова дня, когда весь Будищин собирался на поле, что простиралось за селением, кипела жизнь громкая и пестрая. Костёр горел в центре поля, его пламя танцевало, как живое существо. Мужчины били в барабаны, поющие в груди, как сердце самой земли. Женщины поют песню вызывания летнего тепла. Дети бегали туда-сюда, украшенные цветами, с венками в волосах. Везде пахло печёным хлебом, мёдом, дымом, потом и молодостью.

Радмила стояла в стороне, у самого края света костра, где тень была ещё сильнее, чем свет. Её волосы были заплетены, но косы торчали в стороны, как у птицы, над которой смеялись. Её платье было старое, домотканое, с заплатой на боку. Вокруг неё как бы складывался пустой круг, место, которое люди инстинктивно избегали, как избегают ямы на дороге.

Она слышала, как щебечут девочки в разных местах поля:

Смотри, как она одна стоит.

Её даже на танец никто не пригласит.

Конечно нет. Её ж Лада проклинала.

Радмила держала это знание, как держат во рту горячий уголь. Боль была острая, но она уже научилась не выплёвывать её, а проглатывать, впускать в себя, дать ей место в груди.

Но потом, в середине песни, когда люди уже закружились в хороводе вокруг костра, к ней подошёл юноша.

Его звали Боян. Он был сын соседа, богатого торговца, что торговал тканями и воском из Котбуса. Бояну было примерно столько же, сколько и Радмиле, может быть, на год-два старше. Его лицо было живое, открытое, его волосы были светлые, цвета пшеницы. Его глаза были светлы, как летнее небо в безоблачный полдень.

Танцуй со мной, — сказал он.

Это было так неожиданно, что Радмила сначала подумала, что услышала неправильно. Она посмотрела на него, ища в его лице насмешку, жестокость, какой-нибудь замысел. Но его лицо было серьёзно, даже нежно. Его рука, что он протягивал ей, дрожала слегка.

Я.. — начала она, но слова застряли.

Пожалуйста, — сказал Боян. — Я хочу танцевать с тобой.

Радмила, словно во сне, взяла его руку. Его ладонь была тёплая, живая. Они подошли к костру, к хороводу. На миг люди продолжали петь, продолжали кружиться.

Потом кто-то увидел.

Потом все увидели.

Хороводу перестал быть пением, стал быть молчанием. Барабаны продолжали биться, но как-то исступленно, как-то в пустоту. Люди пятились назад, создавая вокруг Радмилы и Бояна пустое место, воздух, который был почти видим.

Это же проклятая, — услышала она, хотя никто не разговаривал громко.

Как осмеливается...

Лада накажет...

Боян почувствовал это смешение тишины и гнева, этот воздух, что был холоднее, чем холод озера. Его челюсть сжалась. На миг казалось, что он будет стоять рядом с ней, несмотря ни на что. На миг казалось, что есть в мире хоть один человек, кроме её отца, для которого она не была границей, которую нельзя пересекать.

Но потом люди начали расходиться совсем. Напев прервался, как натянутая струна, которую резко разрубили. Барабаны смолкли. Даже огонь костра казался меньше, более испуганным.

Боян отпустил руку Радмилы. Он это сделал медленно, как бы с сожалением, но он это сделал. Боль была такой острой, такой горячей, что Радмила не сразу поняла, что происходит. Она просто смотрела на его лицо, когда он поворачивался к толпе, когда следовал за ней, уходя от костра, уходя от неё.

Он оглянулся один раз. Его взгляд был странный, полный чего-то острого и грустного. Его глаза говорили то, что его рот не мог произнести. Они говорили извинение. Они говорили сожаление. Они говорили жалость, и это было хуже, чем ненависть.

Радмила ушла с праздника. Она шла не домой, а в лес, в ту сторону, в которую редко ходили люди, где лес был гуще, где свет едва проникал сквозь листву, где земля была мокрая и мхом, и холодна, и мертва.

Она села на поваленное дерево, на то, что было когда-то живым, красивым, а теперь было только гнилью и памятью о том, что было.

И она осознала тогда, что семена проклятия уже проросли в её земле. Что её сердце уже больше не сможет быть каменистым и защищённым. Что жить в боли острой, кровавой, живой, было легче, чем жить с этой мёртвой тишиной.

В лесу было холодно. Радмила сидела там, пока не спустилась ночь, пока звёзды не появились над головой, как глаза богов, смотрящих вниз, видящих, но не помогающих.

Озеро было где-то рядом. Она слышала его дыхание, слышала, как оно звало. Но она не пошла туда. Не в этот раз.

Она просто сидела в темноте, и темнота становилась ей домом.

Глава 3. Озеро чёрного зеркала

Лужицкие озёра не были озёрами в том смысле, в каком люди понимают воду. Это были не столько водоёмы, сколько живые хранилища чего-то старше памяти, чем-то, что волхвы называли земной памятью Рода. Вода в них была чёрной, не потому что грязной или глубокой, а потому что отражала не небо и не свет солнца в их чистоте. Она отражала то, что находилось внутри земли — её боль, её сны, её забытые годы. И озёра эти не любили поверхностных взглядов. Они держали в себе отражения, которые никогда не совпадали с реальностью жизни, текущей на берегах.

Озеро Чёрное, в пяти вёрстах от Будищина, через лес, мимо трёх холмов, где раньше стояли святилища язычников — это было место, куда ходили только те, кто исчерпал все другие варианты. Сюда приходили старые женщины, чтобы услышать, когда умирать. Сюда приходили молодые люди, которые влюблялись в невозможное. Сюда приходили те, чьи сердца разламывались от непонимания окружающей жизни и её законов.

Радмила нашла озеро в четырнадцать зим совершенно случайно — или не совершенно. Она убегала от праздника Ярилова дня, когда весь Будищин собирался вокруг костра, и она одна не была зачислена ни в круг плясунов, ни в хор певцов. Волхв Яромир смотрел на неё с жалостью. Её отец, Милан, был слишком пьян, чтобы защитить её. А люди — люди просто отворачивались.

Бежала она по лесу, не разбирая дороги, пока ноги не вынесли её на открытое место, где земля вдруг провалилась в котловину, и там, внизу, среди нагромождения кустов и мёртвых деревьев, лежала вода. Чёрная, недвижная, отражавшая луну, которая той ночью была без облаков и очень велика.

Радмила спустилась вниз по скользкому склону, цепляясь за корни. Её лицо было мокрым от слёз и пота. Рубаха порвалась у локтя. Но когда она встала на берег озера, всё вокруг вдруг исчезло. Исчезла боль в груди. Исчезло желание быть видимой, услышанной, признанной.

Озеро слушало. Не так, как слушают люди — с отвлечением, с нежеланием, с ложным сочувствием. Озеро слушало всем собой. Каждая его капля была ухом. Каждая волна, едва заметная на его чёрной поверхности, была согласием, что оно услышало, что боль была реальной.

Озеро помнило. Радмила чувствовала это с первого часа, проведённого на его берегу. Когда ты стоишь рядом с таким местом, ты понимаешь, что вода перед тобой — это не просто скопление молекул. Это целая история. В этой воде плыли слёзы всех девочек, которые когда-либо приходили сюда в отчаянии. В этой воде жили голоса всех матерей, что потеряли детей. Это была не вода смерти — это была вода памяти, и она никогда не забывала ничего.

Озеро принимало её слёзы без суда. Не с радостью, не с жалостью, не с какой-то моральной оценкой. Просто принимало. Как земля принимает семя. Как воздух принимает звук. Было в этом что-то священное, что-то чистое, то, чего Радмила никогда не находила у людей.

Почему я живу? — спрашивала она воду в первые ночи, когда приходила одна. Её голос звучал странно на берегу озера, словно издавал его не она, а кто-то другой, кто-то, живущий в её груди. Если Лада забрала маму, если я — проклятая, почему сердце ещё бьётся? Почему оно не останавливается? Почему мне нужно просыпаться каждое утро?

Вода не отвечала словами. Но в её колебаниях была какая-то ответственность. Радмила научилась читать эти ответы. Озеро говорило ей языком, который древнее человеческого языка. Языком света, тени, холода, безмолвия.

В селении Будищине люди говорили разное о Радмиле, но суть была одна: она была другой. Она была не такой.

Ведьма, — шептались женщины в бане, когда Радмила приносила воду для парения. Её тело едва покрывали рубахи, её грудь ещё не сформировалась полностью, но в глазах некоторых женщин было что-то, что мешало им видеть в ней обычную девочку. Видели они что-то опасное, что-то, что нужно было контролировать или избегать. Видите, как она держит кулаки? Как смотрит, не моргая? Это знак. Лада метит своих врагов так.

На святках, когда весь Будищин собирался петь песни Ладе, Радмила открывала рот, но звуков не было. Или звуки были неправильные — не фальшивые просто, а каким-то образом противоречащие смыслу слов. Её голос звучал так, как звучит битый колокол, что издаёт звон, но не гармонию. Люди вокруг неё замолкали, словно её голос портил что-то важное, какую-то невидимую ткань, что связывала всех в один организм, один хор, одну молитву.

Её волосы не вьются, — говорила мать Радмилы, Звенислава, когда та ещё была жива. Она расчёсывала чёрные, прямые, жёсткие как конопля пряди, которые падали на спину дочери. Это неправильно. У язычниц волосы должны быть волнистыми, послушными, мягкими. Такие волосы — это волосы колдуньи. Радмила помнила, как мать мыла ей голову в

ключевой воде, как шептала заклинания Ладе, прося смягчить, смириться, стать нормальной. Но даже когда мать еще дышала, волосы Радмилы не изменились. Они оставались такими же прямыми, такими же жёсткими, словно сама земля отказывалась мириться с её телом.

После смерти матери Звеслава старалась всё реже расчёсывать волосы дочери. Позже, когда Радмила выросла, она сама почти перестала это делать. Волосы становились всё более дикими, спутанными, словно стремились вернуться к своему истинному состоянию, к тому виду, в котором они хотели быть, а не в том, в котором их принуждала быть община.

Когда Радмиле исполнилось пятнадцать зим, в Будищин пришла весть, что разнесла в щепки всё, что оставалось от её надежды на обычную жизнь.

Пришёл гонец из Котбуса, раскольного города на границе земель, и объявил, что Боян, сын соседа, который год назад на празднике Ярилова дня почти взял её руку, почти танцевал с ней, прежде чем люди начали расходиться, — что этот самый Боян взял себе жену.

Не просто жену. Жену из богатой семьи торговца Людовика. Девочку, что приезжала иногда на ярмарку в белой рубаше, вышитой золотом. Её звали Гертруда. На всех праздниках говорили, что Боян счастлив, что Лада благословила его союз, что Богиня сама привела ему нужную невесту.

Радмила слышала это, сидя у огня в доме своего отца. Огонь был слабый, дрожащий. Отец, Милан, сидел напротив неё, вырезая идола Лады — очередного. Его ремесло деградировало вместе с его духом. Когда-то его резьба была известна на полстраны. Теперь он вырезал всё медленнее, всё дольше, всё мрачнее.

Когда до них дошла весть о Бояне, Радмила услышала, как в её груди что-то звенит. Чистый, холодный, острый звук, как раскалённый металл, погруженный в воду. Она почувствовала, как в мышцах начинается дрожь. Как кровь отливает из лица. Как дыхание становится поверхностным, колючим.

Её отец, не поднимая глаз от идола, произнёс:

Лада приняла его молитвы. Видимо, тебя не пожелала.

Радмила не помнит, когда ушла из дома. Помнит только, что встала, и тело её повиновалось, и ноги вынесли её из дома, из селения, в лес, по знакомой теперь дороге к озеру.

Луна той ночи была огромной, налитой кровью. Это была луна, что приходит только в самые тёмные моменты года, когда граница между миром живых и миром умерших становится тонкой, как паутина. Вода озера Чёрного отражала эту луну не как серебро, а как чёрное зеркало, в котором можно было увидеть не своё лицо, как оно выглядит в жизни, а своё истинное я — то, что скрывается под кожей, под улыбкой, под попытками быть нормальной.

В этом зеркале Радмила видела себя исковеркано. Видела себя чёрно. Видела себя непрощённой.

Она прошла по острому берегу, где каждый камень был как нож, где каждый шаг причинял боль в ступнях, и эта боль была реальной, была честной, была единственным, что ещё чувствовалось правдивым в её теле.

Вода была холодной в ту ночь. Не просто холодной — смертельно холодной, такой холодной, что первый контакт с ней был как удар. Но Радмила не остановилась. Она прошла дальше. Вода поднялась ей на щиколотки, на колени, на бёдра.

Её рубаха впитала воду, стала тяжелой, как могила. Она обнимала её, тянула вниз, и это было почти хорошо. Это было почти облегчением.

На мгновение, прежде чем полностью погрузиться, Радмила услышала голос. Не человеческий голос — голос самого озера. Или голос её собственного сердца, усилившейся в миллион раз.

Дитя, — говорил этот голос, — ты идёшь туда, откуда нет возврата. Ты уверена?

Радмила открыла рот, чтобы ответить. Но вода уже заполнила её горло.

И в этот момент произошло то, чего она не ожидала. Вода озера вдруг стала другой. Она выплюнула Радмилу, как живой организм выплёвывает что-то ядовитое, что-то несовместимое с его природой.

Радмила задохнулась, вынырнула, её лёгкие разрывались от попыток дышать воздухом после воды. Она кашляла, рыдала, её тело конвульсировало в спазмах.

Но вода продолжала держать её у поверхности. Не позволяла тонуть. Не позволяла уходить.

И тогда Радмила увидела свет.

Свет исходил не из луны, не из звёзд — это было бы слишком просто, слишком ожидаемо. Свет рождался в самом озере, поднимаясь с глубины, с того места, где лежат все потерянные сны, все забытые молитвы, все слёзы, когда-либо пролитые в лужицкие воды за тысячи лет.

Он был жёлтый, не золотой, а именно жёлтый, как спелая рожь в поле. Он пульсировал, дышал, словно был живым.

И из этого света появилась Она.

Лада. Мать Богов и людей. Была здесь, в озере Чёрном, в этом месте забвения и боли.

Её форма не была человеческой в том смысле, в каком Радмила знала человеческие тела. Это была скорее проявление света и воды одновременно, голосом был ветер, что пронизывал лужицкие равнины, а глазами — само озеро. Но лицо её было видно отчётливо. И в этом лице была знакомость, которая буквально разломала Радмилу.

Это было лицо матери. Не её матери, Звеславлы, хотя черты были похожи. Это было лицо всех матерей, что когда-либо рождали детей и смотрели на них с любовью, которую невозможно объяснить, которая не зависит от заслуг ребёнка, его красоты, его успехов.

Радмила, — сказала Лада, и голос был мягче, чем лепет маленького ручья, что течёт в лесу и никого не беспокоит. Голос был таким мягким, что Радмила хотела умереть только для того, чтобы это не закончилось.

Дитя моё, почему ты не видишь, что я рядом? Почему ты думаешь, что я злая?

Ты убила маму! — закричала Радмила, и её голос был голосом не пятнадцатилетней девочки, а голосом маленькой девочки в пять, в шесть лет, той, что потеряла всё в один миг, когда солнце только начинало восходить. Ты жестокая! Ты забрала её! Я ненавижу тебя! Я ненавижу!

Слова вырывались из неё, как кровь из раны. Они были полны боли, полны ярости, полны той отчаянной детской логики, которая не знает компромиссов, которая видит мир в чёрно-белых тонах.

Лада улыбнулась. Не улыбка радости, не улыбка одобрения. Это была улыбка, которая содержала в себе все страдания мира, все утраты, все прощения. Её грусть была настолько глубокой, что Радмила почувствовала, как в её груди разверзается бездна, как чёрная яма, в которую больше нечего падать.

Когда ты говоришь плохо про меня, я не обижаюсь, дитя. Как Мать может обидеться на своего ребёнка? Как звезда может обидеться на облако, которое скрывает её свет? Я не могу обидеться, потому что я люблю тебя больше, чем ты любишь собственную жизнь. И эта любовь не меняется, не уменьшается, не зависит от твоих чувств ко мне.

Тогда почему она умерла? — рыдала Радмила, и вода озера смешивалась с её слезами, так что было невозможно понять, где заканчивается озеро и начинается её горе. — Почему? Если ты её любила, почему забрала её?

Лада, не отпуская её взгляда, ответила:

Твоя мать была моей дочерью, как и ты. Я люблю её не меньше, чем люблю тебя. И когда её земное путешествие закончилось, я встретила её в своём чертоге, как встречу и тебя, когда придёт твой час. Но ты думаешь о смерти, как об отъезде в чужую землю. На самом деле смерть — это возвращение домой.

Радмила качала головой, не в состоянии принять эти слова. Они были слишком доброю, слишком разумны, слишком больны.

Я хочу, чтобы она вернулась. Я хочу её в данной жизни, в Будущине, с нами, со мной...

Я знаю, — сказала Лада. — И это желание — самое чистое, что есть в твоём сердце. Но даже я, что сотворила мир, не могу изменить то, что случилось. Я могу только предложить тебе прощение. Прощение себе самой, за то, что ты думаешь, что я виновата. Прощение жизни, за то, что она не такая, какой ты хотела, чтобы она была.

Лада обняла её. Её объятия были реальнее, чем реальность. В них была вся теплота земли, вся нежность весны, вся крепость древних деревьев. В этих объятиях Радмила поняла, что значит быть принятой полностью, со всей своей болью, со всем своим гневом, со всем своим несовершенством.

И Радмила рыдала, рыдала, пока в её теле не осталось ничего, только пустота, только облегчение, как если бы вся боль, которую она копила девять лет, вышла из неё вместе с водой озера.

Когда свет начал тускнеть, когда образ Лады начал растворяться в предрассветной мгле, она услышала последние слова:

Приходи ко мне, дочь моя. Всегда. В каждую ночь, если нужно. Я прощаю тебя в этот миг. Я прощаю тебя во все моменты твоей жизни. Я прощала тебя даже в тот день, когда ты произнесла первые слова гнева, маленькая и потерянная в своём горе.

Радмила вынырнула на берег озера, как рождённая заново. Её кожа светилась, словно внутри неё горел свет явления. Её чёрные волосы были мокрыми, но в них играла серебристость, которой там не было раньше. И когда она встала, падая и поднимаясь, она поняла, что жизнь её, проклятая жизнь, только что обрела смысл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.